

От *Редакции*: В прошлом номере мы начали печатать статьи посвященные участию кадет в Белом Движении. Статья Бориса Павлова открыла эту серию. Рассказ "Кадетская Звериада" дает яркое описание жертвенного порыва кадет.

КАДЕТСКАЯ ЗВЕРИАДА

(Из сборника рассказов Владимира Гущика)

Два кадета последнего класса, Арчил Никакидзе и Колька Шубин, сидят на крыше корпуса и мечтательно глядят на далекое и золотое от яркого солнца море.

Голубой майский день, теплый и тихий, застыл над южным городом. Солнечно. Пыльно. Теплый запах цветущей акации душистой волной доплывает до крыши. А на улице от пыли все люди серы, как серые куклы.

Тихо. Хорошо. И уж очень разморил этот пахучий, безбрежный день...

— Уеду! неожиданно сказал Арчил и по его скуле забегали живчики.

— Поймают! равнодушно протянул Колька. — До Новочеркаска не доберешься. Под арест попадешь. Болтаешь ты зря!

— Я-то?! сверкнул желтыми белками Никакидзе. — К чорту я доберусь! Ты меня, Колька, не знаешь.

— Знаю.

— Ничего ты не знаешь. Хочешь, скажу?

— Ну!

— Вчера я видел агента из добровольческой армии. Нам, говорит, нужна молодежь. Большевиков бить будем. В офицеры произведут. Ей-Богу! Эх, Колька, Колька, еловая ты башка! Пойми, эх, убегу! После проверки и убегу.

И опять Кикакидзе мечтательно глядит на море и на глазах у него слезы.

Колька откинулся спиной на теплое железо крыши и щурясь поглядел в небесную голубень. Теплота, безделье и ласковость наводят Кольку на мечтания.

— А сейчас там пушки палят! Трах-тарарах-трах! Хорошо, Арчил, быть артиллеристом! И главное, все просто. Очень просто. Вот приезжаю я в армию. «Ах, это вы кадет Шубин? Очень приятно. Мы так много слышали о вашей храбрости и о вашем уме! Позвольте вас познакомить с офицерским составом»... Эх, Кикакидзе, это лучше, чем стихи Бурдюковского. Это — сошедшее на меня откровение. Это — прозорливость прекрасной будущности твоего друга! Ты, балда, погибнешь безвестным и никому ненужным пигмеем, а я, твой друг, как на параде пройду по полям сражений. Слушай-же и не перебивай. И так, продолжаю... Колька полужакрывает глаза и мечтательно продолжает:

— Мне подводят коня. И что это за конь! Это не конь, а сплошной восторг! Это — адски шикарный конь! Я лихо вскакиваю в седло и мчусь с молодцами разведчиками. Мы мчимся в южную степь. Перекати-поле мерно перекачивается под моими ногами. По небу летят журавли, в траве желтеют кости сынов Запорожья. — Здравствуй, степь! говорю я. — Здравствуй родина Тараса Бульбы и Николая Васильевича Гоголя! — Небо безоблачно. В голубой вышине кричат ястреба!..

Колька делает паузу и отрывая спину от крыши, величественно говорит.

— Арчил! Я тебя произведу в офицеры. Я не забуду тебя, паршивый кадет, а ты за это дай-ка мне папиросу.

— Спроси у Николая Васильевича Гоголя! сердито обрывает Арчил. — А, если Гоголь не даст, спроси у Тараса Бульбы.

— Свинья! разочарованно говорит Колька и опять откидывается на крышу.

А небо под ними теплится голубизной, беспредельное, широкое небо, которое прикрывает и белых и красных и черных и море и Москву и Неву и какие-то Парагвай, Сиамы и Тимбукту. Майским теплом обдаёт Колькино тело. Шубин зевает и лениво продолжает мечтать вслух.

— Летит земля из под топота копыта моего скакуна.

— Брось, Колька, дурачиться! Неужели серьезно говорить не умеешь? сердится Арчил.

— Молчи, не мешай. Дай мне хоть помечтать. Слушай, я продолжаю. Кадет Шубин несется по степи. Лихо я мчусь, припав к луке своего аргамака. За мной, тонкой цепочкой, спешат молодцы разведчики. Не перебивай, слушай и наслаждайся. «Миль пардон! Что это за гордый всадник?» спрашивает командир батареи и не отрывается от бинокля. «Ах, это-же знаменитый Шубин со своими разведчиками! Пароль донер, он красив, как сам Антиной!» отвечает ему адъютант и от зависти грызет наконечники аксельбантов. Ах, как курить хочется! уже не мечтательно говорит Колька.

— Попроси у адъютанта! язвит Арчил.

— Скот! Тебе не понять великих порывов моей мятежной души. Но слушай дальше. Лошади горячатся и благородно храпят...

И Колька говорит, говорит, говорит, а небо теплое и с неба на них плывут теплые волны, а снизу томно пахнет акацией и пылью.

— Поедем! тихо говорит Арчил. — Право, поедем. Я тебя, Колька, люблю. Очень люблю. Я за тебя куда угодно пошел бы.

Колька чувствует, как от ласки Арчила першит в горле, как тянет его броситься к приятелю и крепко обнять его и сказать ему, как дорог этот старый, испытанный по корпусу друг.

— Я без тебя не останусь! решительно говорит Колька. — Ехать, так вместе. Чорт с ними, пусть ловят. Поймают и выпустят. Или в корпус отправят. Все равно ничего не будет.

— Ей-Богу!

— По рукам?

— По рукам!

— Ну, Колька, спасибо! Ты поступил, как прекрасный человек.

— Я всегда прекрасен!

Движенья быстры, я прекрасен, Я весь, как БОЖИЯ гроза!

— Получай за это последнюю папиросу! восторженно говорит Кикакидзе и достает блок-нот, где между слипшихся страниц лежит плотно приплюснутая папироса.

Колька осторожно ее расправляет, закуривает и блаженно откидывается на крышу.

Хорошо пускать дым в теплую голубень! Так бы и пролежал на крыше всю жизнь и никуда бы не шел и никуда бы не ехал, а валялся бы и пускал дым и шурился бы от солнца! И зачем и кто это придумал какие-то войны, какие-то революции?

Колька лежал и глядел в небо, а Кикакидзе сидел и глядел вдаль. Чуть пригнувшись вперед и положа руки между колен, он мечтал.

И рисовался Арчилу родной Кавказ и самый самый прекрасный в мире город — Тифлис и розовые по утрам и лиловые вечером аулы. Ему даже

слышались звуки родной зурны, хотя эта была не зурна, а шмель, гудевший над Колькой, но Арчилу это гудение казалось далекими напевами родной зурны. И еще казалось Арчилу, что он совсем не на крыше, а на утесе родного аула, а там по дороге пылит красная артиллерия, на перерез которой спешат ложиной лихие горцы и впереди всех он сам, Арчил Кикакидзе

Вдруг, гулкой дробью забил внизу барабан. Колька вскочил и выронил папиросу. Окурок покотился к жолобу застрял в нем и от окурка потянулся голубой жилкой дымок

— К обеду стройсь! Закричали дневальные.

Оба кадета быстро юркнули в слуховое окно и спустились с чердака на главную лестницу.

— Ишь! заворчал на них дядька Никифорыч — Балбесы саженные! Жеребцы! Право, жеребцы! Их бы женить пора а они по крышам лазают...

Весь день Кикакидзе и Шубин были неразлучны. Ходили под руку, как заговорщики о чем-то шептались, а вечером к ним пристал Васька Горский.

— Вы о чем, черти, шепчетесь? Заговор?

— Мы?! скорчил удивленную рожицу Колька. — Да ничего подобного!

— По твоей роже вижу, куда загнули

— Куда?

— Бежать.

— Вот, чорт! И не думаем. Ей-Богу! Вот тебе крест. Это ты ему, Арчил, рассказал?

— Я? Нет. Честное слово не заикнулся.

— Откуда ты взял, Горский? Пошел к бесу!

— Ну вот, и проговорились. Послушай, Колька, возьми меня. Я тебе пригожусь. Какой из вас двоих прок? Изрубят вас большевики, как собак и ничего вам без Горского не поделать

— Возьмем его Арчил! сказал Колька. - Пусть нам сапоги чистит. Горский, хочешь быть денщиком?

— Вот, балда! Я тебе серьезно говорю, а ты шутишь А впрочем, я и без вас убегу.

— Ти-шш! шипит Арчил и вытягивается в струнку Мимо проходит полковник и кадеты впиваются в него глазами. И когда офицер прошел Кикакидзе сказал:

— Ваську берем, а больше никого! И ты, Васька, не болтай зря. Держи язык за зубами.

— Ну, то-то! Давно бы так! А то, смотрите, бездарные головы, как произведут меня в корнеты, живо посажу под арест!

— Я так и знал! воскликнул Шубин. — Не годен! Ни к чорту не годен! Мы собираемся в артиллерию, а он в кавалерию. Отъезжай!

— Ну-ну! Соловая голова! Да, что вы без нас на фронте поделаете? А разведка? А заканчивать бой? Да и кто будет охранять твои пушки?

— Берем! твердо решил Арчил. — Ваську берем!.. Все трое сговорились удирать после поверки.

— Ночью в два часа! предложил Горский. — Из чистилки на березу. На ту самую березу, что посажена в нашем саду для уразумения, какие-такие березы растут на севере. Насаждение сделано кстати и у самого окна чистилки. По березе вниз, через сад, через забор, в поле, за рощу, к товарной линии, в вагон за бочки или за ящики и — прощай корпус!

Весь вечер бродили втроем, а после ужина в спальне все трое, казалось, уснули крепким сном.

— Удивительно! громко сказал дежурный офицер Черкасов, обходя койки.
— Горский спит. Странно, очень странно. Гм...

А Горский, прикрывшись с головой одеялом, думал: «В будущем году, господин капитан, мы должны сравняться в чинах, но с одной разницей: вы останетесь при вашем паршивеньком Станиславе, а у ротмистра Горского будет красоваться на груди беленький крестик. Нда-с! Зарубите себе на носу!..»

Ночью, когда пробило два, Колька приподнял голову и увидел по ряду коек еще две приподнявшиеся головы. Колька осторожно вылез из-под одеяла. Приятели сделали тоже. Потом все трое, захватив сапоги и платье, босиком прошмыгнули в чистилку.

— Тес! тихо остановил приятелей Шубин. — Не разговаривать! Кадеты быстро оделись и Горский распахнул окно.

Печальная береза
У моего окна...

начал он, но тотчас получил по затылку от зашипевшего красивый и Кикакидзе вмиг оказался на березе и пополз вниз. За ним тихо, по кошачьи, спустился Арчил. А Колька, перегнувшись с подоконника и обхватив березу левой рукой, оглянулся в последний раз на чистилку и, почувствовал, как запершило в горле, быстро и с отчаянием перекрестился на посуду с ваксой.

Ночь стояла теплая, лунная и тихая. Разорванные 'облака, как грязная мыльная пена, плыли по горизонту, а над головой простиралась звездная бездна.

— Когда меня убьют, — неожиданно и печально сказал Горский, — я переселюсь на Венеру.

— Почему на Венеру? удивился Арчил.

— Люблю Венерочек!

— Дурак! рассердился Колька. — Такой момент, а ты паясничаешь!

— Не сердись, Николай. За то, когда меня убьют, ты будешь глядеть на Венеру и с улыбкой вспоминать своего Ваську...

Все трое пригнулись, быстро перебежали к ограде, перелезли ее и юркнув в кусты, повернули в сторону железной дороги.

— Пройдя шагов триста, Колька оглянулся на корпус и остановился. Остановились и приятели.

Вот он, их дом, их родной корпус! Сколько воспоминаний связано с ним! Каким дорогим и близким сердцу сделался он в эти минуты! Казалось, что каждый кирпич, каждая щель, каждая мелочь стали и родными и светлыми

и ласковыми до слез! Кадеты молчали. С ясного неба гляделась луна, где-то гудел паровоз, в кустах перепархивали ночные пичуги и далеко, по сизому от лунного света шоссе, разрезая ночь двумя мечами огней, мчался автомобиль. А под яркой южной луной, голубым серебром лоснились крыши корпусных зданий.

«Зачем бежим?» подумалось Кольке. «Зачем? Что впереди? Быть может никогда не увидим родного корпуса!»...

В кадетской роще, что стояла в полуверсте от плаца, беглецы остановились.

— Давайте, проверим нашу казну и пищевое довольствие! предложил Горский. Он вывернул карманы и вынул горбушки хлеба и несколько кусков супового мяса, с приставшим к нему сором. У приятелей оказались те же запасы, но у Кольки нашлась еще соль и казенные нож и вилка.

— Ага, оружие! засмеялся Горский. — А у тебя, что, Шамиль?

Арчил выложил перед приятелями хлеб и котлеты и вслед за тем вытащил из запазухи объемистую тетрадь.

— А это что? спросил Колька.

— Алгебра! подсказал Горский. — По ней Арчил будет решать в бою задачи: со многими неизвестными. Я же всегда говорил, что Арчил умница и предусмотрителен.

— Нет! с неожиданной торжественностью оборвал его Кикакидзе. — Нет, это не алгебра. Это, господа, наша Кадетская Звериада!

—Как?!

—Что?!

— Звериада?!

—Наша кадетская Звериада?!

— Да, господа, во всех ее вариациях! еще торжественнее повторил Арчил. — Как видите, связь с корпусом не нарушена. Отныне эта тетрадь будет заботливо охраняться. Начнем с меня. Когда меня убьют, она перейдет к Шубину. Ты, Горский, как самодур и легкомысленный человек, завладеешь тетрадью после наших смертей. Легкомысленные живут дольше, ибо — дуракам везет.

— Но только подумать, — сказал Колька, — наша кадетская Звериада!

И вдруг, он запел тихо, вкрадчиво и на такой печальный мотив, на какой никому не пришло бы в голову петь развеселую Звериаду. Среди тихой ласковой ночи, под южными пушистыми звездами, подхватили его напев приятели и щемящей тоской разлуки и отрыва от родного гнезда, понеслись слова Кадетской Звериады.

—Под но-ги-и!.. Под но-ги-и!..

Ночь. Степь. В седле так укачивает, так хочется спать.

Третьи сутки без отдыха с боями идут белые части на плечах отступающих красных; вперед, вперед! И вот сейчас, опять глубокий обход.

Холодно.

На горизонте чуть светлеет. Временами под ногами коней хрустит ледок. Нет-нет, да и набежит зябкий степной ветерок, заберется под гимнастерку, лизнет холодом тело и опять убежит в сумрак.

— Под но-ги-и!.. Под но-ги-и!..

Вот в сторону прыснул испуганный тушканчик, вот где-то свистнул суслик, над дальней лагуной беспокойно заметались какие-то птицы и одна из них, большая и смутная, пролетела над головами.

Как хочется спать! Колька напрягает все силы, чтобы не уснуть в

седле и в памяти выплывает разведчик Наумов, на таком же ночном переходе, уснувший и свалившийся под ноги лошадей. Тогда испуганные лошади сильно помяли Наумова. Да и за конем надо следить; долго ль попортить коня. А тут еще и дорога разворочена снарядами и длинная цепочка войск, как гусеница растянувшаяся по степи, так же, как гусеница извивается, обходя развороченные места. И все чаще слышится окрик начальников и чаще передается по рядам предупредительное, заглушенное и сонное.

— Под но-ги-и!.. Под но-ги-и!..

И от этой, какой-то не человеческой, а совиной переключки, еще больше тянет ко сну и все сильнее хочется спать. Глаза слипаются, степь расплывается в бесформенное пятно и уже не видно лагуны с беспокойно метущимися птицами **и уже** нет шеи коня...

— Под ноги-и-и!.. Под ноги-и-и-и!..

Колька вздрагивает и открывает глаза. Колонна обходит очередную выбоину дороги и Колькин конь беспокойно косится на развороченную воронку.

— Фу, чорт! Опять уснул! устало бормочет Шубин и зябко поевживается. Старым привычным ритмом глухо гремят, подпрыгивая на неровностях, пушки. И опять слипаются глаза, опять голова свешивается на грудь и рука с поводом падает на шею лошади.

Колька открывает глаза. Светает сильнее. А дозоры все скачут и скачут к дальнему лесу. Дорога начала опускаться и степь разрезается широким оврагом. А там, дальше, новая лагуна, розовато зеленая и над ней опять беспокойные птицы.

Степь сползает в овраг. Колонна опускается все ниже и ниже, а дальний лес и скачущий к нему дозор, заслоняется гребнем оврага.

«Эх, посмотрел бы на нас командир роты» думает Колька. «Но корпус далеко. Боже, как далек корпус! А давно ли? Мальчики, кадеты, а сейчас возмужавшие добровольцы-охотники! Ах, да, Звериада, пришло на память. И вспомнилось Шубину, как устроили Звериаду в отдельной тачанке с офицерскими вещами, как обернули тетрадь в толстую, синюю бумагу, наставили на ней дюжину сургучных печатей, приставили к тачанке Пупенкова и строго ему наказали: «Помни, что в этой тачанке секрет всей белой армии! А потому, охраняй усердно». Пупенков сказал: «Слушаюсь! Будьте благонадежны. Нешто мы, этих мазуриков коммунистов, допустим?» сел на тачанку и поплелся в хвосте обоза...

Медленно и широко просыпается степь. Уже пол неба из бледно-зеленого окрасилось в бледно-лиловую муть, а облака, как яркие огненно-розовые перья, разметались над степью. И хотя все еще сумрачно, еще не совсем убежал ночной мрак, но близкий рассвет чувствуется в каждой былинке, в каждом вздохе степи. Тихо. И вдруг:

— Тра-та-та-та-то! Затрещало по степи. Резкие залпы ударили по оврагу, понеслись от леса. Все метнулось в сторону, поскакало, закричало, застонало, заржало. Испуганный конь Шубина вынес его далеко от дороги и еще ничего не понимающий, полусонный Колька с трудом удержал его и оглянулся. Трупы людей и лошадей валялись на дороге, от леса бухала пушка, трещали пулеметы и у самой дороги с воем и визгом, рвались снаряды.

Вот скачет командир батареи, вон на гребень выскочила его батарея и рывкнула и начала огрызаться на лес. Вон, развернулась в цепь и побежала пехота, а вон, уже трещат и наши пулеметы и в дело входят все новые части колонны.

— — На левом фланге красная кавалерия! услышал Колька, и вместо того, чтобы скакать к своей батарее, он круто повернул коня и поскакал на левый фланг-Левый фланг, где находился Арчил, еще не вступал в дело и батареям было приказано не открывать огонь, чтобы не выдать красным своего присутствия. В дело были брошены только «дикие» и, когда они понеслись по полю, Арчил не выдержал, загорелся, затрясся и, как дикарь вылетел со своей пушкой на гребень оврага. И хотя он знал, что показать присутствие здесь артиллерии нельзя, но восточный пыл победил дисциплину. И вдруг, Арчил увидел, что низиной, во фланг стремящейся коннице, высыпала из-за холма горсть красных и спешно устанавливают три пулемета. Участь «диких» должна была решиться через минуту. «Диких»! Но ведь там, среди этих «диких», среди этих зверей, вынесшихся на десяток саженой вперед, скачет молодой зверек корнет Горский. Еще вчера вечером он говорил Арчилу:

— Ну, кто прав? благородный Горский, — корнет. Менее благородный Кикакидзе, — старший унтер-офицер. Совсем не благородный Колька Шубин, — как и полагается — простой артиллерийский разведчик. Но, не унывай, Арчил! Ты поддержишь меня в бою и получишь прапора, а Кольку я возьму к себе в денщики. Ну-ну, голову выше, плечи разверни, грудь вперед! и он заливался веселым и звонким смехом и перегнувшись с седла, обнимал Арчила.

И во теперь, Горский на волосок от гибели. Значит, Горский был прав? Значит, предсказания Горского верны? Значит, Арчил будет спасителем Горского ?

Арчил взвизгнул и, как бешенный, расталкивая прислугу, бросился к пушке.

Первый снаряд перелет, второй перелет, ррраз! и нет пулемета. Вон, побежало несколько человек, а вон ползут, корчатся, лежат на земле, замерли. И Арчилу чудится, что он даже слышит их стоны. Арчил засмеялся и почувствовал, как страшный зверь проснулся и задвигался в нем.

— Еще! Еще! кричит он.

Рррраз!

А где-то гремит уррра!.. Это «дикие» вошли в дело. Арчил оглянулся. От скрытой в овраге артиллерии скачет полковник Сысой, кричит, размахивает над головой плетью.

«Запорет нагайкой!» подумал Арчил и застыл на месте.

— Зачем?! Как смели?! Что это?! кричит, хрипит и брызжет слюной полковник. — Сволочи! Рас-стре-ляю!!...

Арчил протянул руку в направлении холма. Вон шесть неподвижных фигур, вон двое ползут, приподымаются, падают. Вон, исковерканные, сбитые пулеметы. Сысой оглянул местность и все стало ясно. Он даже не поблагодарил, а круто повернул коня и поскакал к расположению генерала.

Теперь Арчил знал, что делать; в ярком утреннем свете без бинокля был виден противник. Вправо от леса деревня, а влево далеко розовеет городок. От деревни на помощь красным скачут новые эскадроны. Арчил командует прицел.

«Бей их, Васька!» кричит в Арчиле проснувшийся зверь. «Бей, я тебе помогу!»

— Огонь! командует он и пушка ревет, вздрагивает и полыхает в сторону эскадронов. Еще и еще. Эскадроны сбиты, рассыпались, скачут обратно, но уже «дикие» вышли к деревне, смяли первую конницу и гонят мятущихся

красных.

«Васька, бей, бей, бей их!» кричит в Арчиле нутро. «Эх, Васька, Васька, то ли дело твоя кавалерия!»...

Арчил хватается за бинокль, но, позади скачущий Сысой орет благим матом:

— Первое орудие за мной!

— Эх, не удалось рассмотреть! печалится Арчил и скачет с орудием за командиром батареи...

Среди рослых, крепких, усатых и бородатых «диких», Горский выглядел мальчиком. На высокой вороной кобыле, припав к ее шее, он казался комочком и в руке этого комочка блестел и сверкал на солнце зеркальный клинок. В пылу атаки, Горский даже не учел бега своей лошади и теперь сильно выдвинулся впереди сотни...

Шубин не отнимает от глаз бинокля. Руки у Кольки дрожат, отчего Горский то исчезает из круглого поля зрения, то виден один хвост Васькиной лошади, то лошадиная морда, то пригнувшийся Васька, где-то вверху прыгающего кружка. Шубин даже не слышит, как ухнула вправо пушка Арчила и раз и другой и третий. Он весь охвачен атакой «диких» и его нервная дрожь стала передаваться его коню; всегда, как корова спокойный Алмаз нервничает, приседает на задние ноги, роет землю передней.

— А, дьявол!огревает его нагайкой Колька, берет в шенкеля и ставит на новое место.

Вот снова в кружке бинокля скачет Горский. Но вдруг, в кружок прыгнули спереди новые лошади и зеркальный клинок Горского поднялся несколько раз и опустился. Вот снова поднялась и снова опустилась шашка Горского. Вот, скачет рядом с ним свободная, без седока, рыжая лошадь и, так смешно подпрыгивая, бьют ее свободные стремяна.

— Ах, зачем Васька так далеко вылетел впереди сотни?! кусая губы, тревожно спрашивает себя Колька.

Вот, Васька круто осаживает коня, вот «дикие» врезаются в массу противника, опрокинули, гонят его, все прыгает, все скачет и рассыпается по полю. И прыгает и скачет Колькин бинокль. С болезненной дрожью Колька ищет, ищет, ищет.

— Господи, сохрани его! Господи, сохрани его! шепчут его бледные губы. — Ну да, ну да, это же Горского лошадь! Господи, Горского, Господи Васьки Твоего, Васьки, сохрани...

Высокая вороная скачет обратно без седока.

— Но, где Васька? Где Горский? Господи, где же, где Васька?!.. Видно, как разметались по полю красные, скачут на холме, к деревне. «Дикие» мчатся за ними. Блестят, сверкают клинки. Но вот они поворотили коней и скачут обратно. Вон, Васькина вороная испуганно скачет бок-о-бок с какой-то рыжей, вон приостановилась, пропустила, как бы недоумевающая, мимо себя сотню и уже скачет одна позади. А сколько комочков валяется по степи! Словно нарочно упали и притворяются спящими.

— Тра-ах! Трах! Тра-ах-ах!..

Шубин отнимает бинокль. Батарея бьет по деревне. Вон, поднялся дым, горит.

— Что горит? спрашивает себя растерявшийся Шубин. — Ах, да, деревня горит. А Горский?! Что Горский?! Где же Горский?! Васька... Вася... Вась!..

Кольке делается страшно. Похолодели руки, стягивает кожу лица и так больно запершило в горле. И поле и деревня и «дикие», все стало расплываться перед глазами.

— Васька! — кричит Шубин, бьет нагайкой коня, скачет навстречу «диким» и вдруг, страшная и смешная мысль врезается в мозг: «Горский переселился на Венеру... Горский любил Венерочек!..»

Колька сдержал коня, повернул обратно и опустив голову, шагом поехал к правому флангу. А позади, батарея полковника Сысоя, беглым огнем била по деревне...

До девяти вечера никто не мог предугадать, какая сторона выиграет бой.

Зарево вечерней зари заволакивалось дымом горевших предместий и по всему фронту не переставая гремела артиллерия. Казалось, не десятки, а сотни пулеметов трещали по всем направлениям и стрелковые цепи, то поднимаясь бросались в штыки, то врассыпную разбегались по жнивью. Уже деревня, под которой убили Горского, осталась позади, а вправо и влево раскинулись новые две деревни и впереди, как на ладони, красовался белый, а сейчас розовый от заката, городок.

В девять, конную батарею оттянули к полусгоревшей деревне на высокую холмистую местность и расположили у роши.

— Голубчик, Николушка! волновался командир батареи. — Скачи, ради Христа, к генералу. Неужели больше и в бой не пустят. Ведь за Россию, Николушка! За Русь! Сволочи!! Стратегические мокрицы! Да ведь они, черти штабные, дело проигрывают! Николушка, да на что нам пушки, если стрелять не дают? Скоты, маринованные! Объясни генералу, а то, чего доброго, я и самовольно займу позицию и войду в бой!..

Шубин сказал: — Слушаюсь! и галопом поскакал через огороды к деревне.

Внизу, по лощине, с криком «ура!» бежали красные (как жуки) и было видно, как наши цепи, частью отстреливались, частью разбегались, обнажая свой левый фланг.

«Вот бы картечью!» подумалось Шубину и он полоснул нагайкой своего Алмаза. «Отходят! Отходят!» со злобой и страхом подумал он. «Отходят! Эх, сволочи!» Он быстро вылетел на изгиб широкой дороги и в изумлении осадил коня... Генерал сидел на крыше сарая и Колька увидел, как он махнул рукой, в которой держал бинокль, и весело закричал, перегибаясь в противоположную от Шубина сторону:

— Первая сотня ма-арш!

И тотчас через дорогу, откуда-то, словно из под земли, вынырнули станичники и на рысях потянули в лощину. А генерал продолжал махать рукой, в которой розовым поблескивали стекла бинокля, и кричал:

— Вторая и третья ма-а-рш!

Ах как хорошо видел все это Колька и, как всю жизнь не мог забыть этой картины!

В ста шагах от дороги, (как раз казаки переходили в намет) залитые вечерним солнцем, маячили оранжевые подсолнухи, а еще ниже, в лощине, розовым золотом блестела кукуруза. И сотня за сотней ровными, стройными рядами, тоже розовые от вечерней зари, все ускоряя и ускоряя аллюр, врезались в стену подсолнухов, исчезали в ней и вынырнувши на другом конце, врывались в кукурузу и, словно прокосив в ней дорогу, выскакивали на жнивье.

Крепкие, мощные, как один целый зверь быстрый в движении, скакала сотня за сотней. Казалось, сами лошади понимали важность атаки; ни

одна не горячилась, все неслись стройными рядами, казаки сосредоточенно вытягивали шеи и Шубин увидел, как некоторые, на скаку, крестились.

— Широкая дорога пролегла через подсолнухи и кукурузу и крайние от дороги растения, встревожено раскачивали оранжевыми головами.

Боже, как это было прекрасно и, как жестоко и, как торжественно!..

Уже в карьер шла первая сотня и видны были только крупы коней и не спины, а зады казаков, словно из этих задов и состояла вся сотня.

— Урра-а-а-а! раскинулось и загудело по всему полю.

— Четвертая сотня ма-а-рш! снова закричал генерал и снова сотня всадников ринулась в кукурузу.

Еще бешенней застрекотали пулеметы, еще бестолковой загремели пушки и вдруг, все стихло. Отдаленное, глухое и такое дорогое для сердца Шубина «ура!» казалось объяло всю лощину до самого горизонта. Колька привстал на стременах, замахал над головой нагайкой, заплакал и не понимая, что делает сорвал с головы фуражку и, дав шпоры, подскакал к сараю.

— Ура, генерал! Ура, ваше превосходительство! Урра-а-аП. Генерал поглядел на Шубина, узнал его, улыбнулся, поднял бинокль, навел на лощину и срывающимся, веселым и вместе с тем, словно плачущим голосом крикнул Кольке:

— Конная батарея в лощину и беглый огонь по правому флангу! Живо!

Как сумасшедший понесся к батарее Шубин и через три минуты, довершая дело атаки, конная батарея била по бегущим большевикам...

— Бинокль! Ради Бога бинокль! закричал Шубин и почти вырвал его из рук улыбнувшегося командира и навел на лощину.

На огромном просторе, по всему жнивью, кучками и в одиночку лежали люди, словно они спали под вечерним солнцем, так были недвижны и безмятежны и лицом вверх и на боку и на животе. Столбы дыма и земли взлетали далеко впереди батареи и, словно на перегонки, крохотные, как блохи, вприпрыжку бежали от этих столбов красные.

Трясущимися руками направляет Колька бинокль вправо. Как рои пчел рассыпались до самого города казаки, вспыхивают при вечерней заре розовые клинки шашек и видно, как в рассыпную скачет от них красная кавалерия, бежит пехота и, захлестывая ее, огибает поле четвертая сотня. А вот... и Колька задохнулся от звериного восторга; впереди одной из сотен, раненый в ногу, полубольной, мчится в тачанке лихой есаул Потоцкий и размахивает над головой шашкой. И Кольке вспомнилось, как еще вчера, полковник Сысой говорил полковнику Гейлю:

— Вы думаете, что Потоцкого рана удержит в тылу? Как бы ни так. Вспомните меня, что при первом деле, он прикажет гнать его тачанку впереди сотни!..

И еще видит Колька, как рядом с тачанкой Потоцкого скачет «безрукий» есаул Полейко (левую руку ему оторвало снарядом еще весной) и, взяв в зубы повод, размахивает над головой не шашкой, нет, а нагайкой!

Какие прекрасные звери эти казаки, эти Потоцкие и есаулы Полейко! А может быть это и не воина, а просто кадеты высыпали в поле среди большой перемены и играют в войну?

— Урра-а-а-а-а!.. Урра-а-а-а-а!.. — несется со всех концов жнивья.

Но уже ничего не видно, опять слезы мешают рассмотреть, что происходит дальше. Он опускает бинокль и видит, как стороной, на пегом коньке, окруженный штабом, спускается в низину генерал.

— Урра! кричит ему Колька и размахивает биноклем. Батарея молчит.

Командир уже скачет к генералу, салютует и рапортует!

— Сон! Сон! шепчет Шубин — какой удивительный сон!.. И, чтобы убедиться в действительности, он ущипнул себя за ногу и вскрикнул от боли. Наклонился к ноге и увидел, как большое черное пятно расплылось по рейтузам.

— Я ранен? спросил он себя. — Где, и, улыбаясь, осторожно и любовно потрогал 'окровавленное место. Словно ножом вдоль ноги разрезало рейтузы и Шубин догадался, что это еще до отвода батареи к роще, его полоснуло осколком шрапнели.

— Ну да, ну да, я еще тогда почувствовал боль и почему-то не обратил внимание.

И он закричал, возвращавшемуся командиру:

— Господин полковник, я ранен! и в голосе его была такая радость и такой задор, словно он получил особенную перед всеми награду и теперь есть, чем похвастаться в батарее.

— Кстати, Николушка, вы одного корпуса с Кикакидзе? спросил командир.

— Так точно.

— И с Горским?

— Так точно. Мы одного класса.

— Жаль Горского. Хороший был молодой человек!

— А, что с Кикакидзе? опасливо спросил Шубин и даже побледнел, ожидая ответа.

— Сейчас генерал произвел Кикакидзе в прапорщики, а вас предложил мне представить к Георгию.

Колька густо покраснел и приложил, запачканную кровью, пятерню к козырьку фуражки...

Начинало смеркаться.

Красные отступили по всему фронту, очистили город и спешно уходили на север.

Конная батарея снялась, выехала на дорогу и потянулась к городу.

Шубин не поехал на перевязочный, а наскоро сам перевязал ногу и двинулся с батареей.

Потный и запыленный адъютант проскакал мимо и на скаку крикнул:

— Вторая конная батарея в резерв!..

— Слава Богу! кто-то со вздохом облегчения сказал за спиной Шубина. Он оглянулся. Веснущатый солдатенок Максим снял шапку и крестится.

— Слава тебе, Боже! На отдых. Ну и делов было!.. Утром Горского хоронили на городском кладбище, а вечером, вспрыснув погоны Арчила, Колька глядел на Венеру и, вспоминая Ваську, сквозь слезы говорил приятелю:

— Ну вот, кадет Арчил — штаны замочил, ты и офицер, а Васька наш у Венерочек! За кем-то черед? Эх, Васька, Васька! И зачем мы его взяли с собой?!

— Судьба! Кисмет, как говорят турки. А тебя, брат, с Егорием? Колька печально улыбнулся и тихо сказал:

— А помнишь корпус, крышу... Как это далеко!..

— Колька! вдруг, спохватился Арчил. — А ведь наша тачанка вместе с Звериадой и Пупенковым у красных!

— Как у красных?

— Ну да! Вчера, как красные отбили эту часть обоза, так и угнали в свой тыл.

— Жаль! грустно обронил Шубин. — Последнее наше звено с корпусом.

А там... —

Он не договорил, отвернулся от Арчила и смахнул слезы. А над друзьями, в темном бархате неба, сверкала, блестела и играла зелеными огоньками, затерянная в безбрежности космоса, такая далекая и такая яркая Венера. Блестела и словно смеялась веселостью Васьки:

— Люблю Венерочек!.. Три дня, в спешном отходе красных, Пупенков колесил на своей тачанке и все ждал, когда же примутся за «секрет всей белой армии»? Наконец, не выдержав томительного ожидания, он напомнил о себе комиссару.

День выдался серым, дождливым. Дороги набухли и лошади с трудом выволакивали из грязи тачанки. Комиссар ехал верхом в стороне от дороги, по жнивью, а обозные месили грязь, идя рядом с подводами. Когда комиссар приостановил коня и пропускал мимо себя обоз, поравнявшийся с ним Пупенков, сказал:

— Товарищ комиссар, сделайте милость, не ровен час, — весь секрет скрадут. Еще у белых наказывали: береги Пупенков, эту тачанку, в ей секрет всей белой армии! Вот я и сберег для красных начальников; авось теперь домой на побывку отпустят.

— Какой секрет? не понял комиссар.

— Да в тачанке у меня тетрадь синяя. Печати проставлены. Белые говорили, что это секрет всей их армии. Вот, какие они сволочи, эти белые!..

Комиссар съехал на дорогу.

— Какие тетради?

— Не могу знать, мы не грамотны. Пакет у самом заду под всем барахлишком.

Очередная остановка была среди поля, а потому, комиссар, достав пакет, не стал его вскрывать, а засунул под кожаную тужурку и сказал Пупенкову:

— Молодец, товарищ! Это, наверное, очень серьезные документы и я для тебя выхлопочу побывку.

— Попремного благодарны! обрадовался обозный. — Помогите вам Господь!

К вечеру 'обоз стал подтягиваться к железнодорожной станции и в сумраке непогоды, уже показались зеленые и красные огни семафоров. В ста саженях от дороги начинался лес и на его опушке показались всадники с красными звездами.

— Свои! обрадовался Пупенков.

Арчил решил во что бы то ни стало достать Звериаду. Он выпросился у Сыся на сутки и ничего не говоря Шубину, отправился к генералу.

— Я вас не понимаю! выслушав Арчила, развел генерал Руками. — Вы, офицер артиллерии и просите у меня людей для совершения кавалерийского маневра! Объясните точней.

— Я, ваше превосходительство, природный конник. Я кавказец. Кроме того, случайно мы не далеко от тех мест, где я, год назад, гостил у своих родственников. Я знаю эту округу почти наизусть. Если здесь углубиться в леса и пройти болотами, — оставляя степь позади и правей, — верст на восемьдесят, то к вечеру я выйду в тыл большевикам, уничтожу обозы и к утру буду обратно.

— Сколько же вам нужно людей?

— Если ваше превосходительство, вы дадите пол-сотни кабардинцев, то это вполне достаточно.

— Ну, хорошо. Я согласен. Что вам нужно еще?

— Красные звезды вместо кокард и больше ничего, ваше превосходительство.

— Согласен. С Богом!

Арчил получил смешанный отряд. В нем было двенадцать человек кабардинцев, шестеро донцов и все остальные драгуны. Все это были охотники, вызвавшиеся на опасное дело и, следовательно, люди испытанные и боевые.

Выехали чуть свет и углубившись в лес поснимали папахи и нацепили красные звезды.

Больше шли на рысях, молчаливые, сосредоточенные, хитрые и беспощадные, как звери.

На Кикакидзе была затасканная красноармейская шинель с оторванным хлястиком, винтовка, шашка, наган и у пояса две гранаты. Дело было задумано лихое и, если все пойдет хорошо, то почем знать, быть может и Звериаде суждено будет увидеть вновь белую армию...

В лесу было тихо и сумрачно. Душно пахло смолой и время от времени, в стороне, с шумом и клетком срывались тетерки и опять тишина воцарялась окрест, нарушаемая только мягкими ударами копыт, да глухими стуками и резкими криками дятлов.

К вечеру вся полусотня достигла опушки леса, развернулась и замерла. Впереди дрожали красные и зеленые огни семафоров и по топкой дороге медленно тянулся красный обоз.

Арчил снял винтовку, взял на прицел кожанную куртку и спустил курок.

Лихое дело удалось на славу: обоз до сотни подвод был уничтожен, а все, что было возможно захватить с собой было захвачено, обозные лошади выпряжены, навьючены самым нужным, обозная прислуга взята с собой и на сумеречной дороге только сиротливо маячили разбитые и разграбленные тачанки и подле них валялись в грязи сорок человек зарубленной охраны и комиссар в кожанной тужурке.

Еще звезды не высыпали в небе, как полусотня, конвоируя добычу, укрылась в лесу.

— И не приведи Господь, — говорил Пупенков, ведя рядом с Арчилом свою, навьюченную добычей, лошадь, — не приведи Бог, как они, комиссар значит, на меня наганом нацелились. «Кажы, говорит, что у тебя за секреты есть?» Ничего, говорю, у меня нету, никаких белых секретов. А он прямо к тачанке. Выволок ваш пакет и себе запазуху. Вот каки они сволочи, эти красные!

Но все, что говорил Пупенков, шло мимо ушей Арчила. Милая Кадетская Звериада покоилась у него под шинелью.

Ночью прошли разгромленным хутором. Светила луна. **И**, когда огибали сараи, ветер потянул с пустыря и обдал **всех** тяжелым трупным запахом.

Луна заливала ярким светом и хутор и солдат и поляну и бледного немого, в белых портках стоявшего посреди двора и тупо глядевшего на спешивших мимо хутора всадников. И от этого лунного света, немой казался еще бледней (словно оживший покойник) и мнилось, что не от пустыря, а от него несло этим удушливым запахом разложения...

Чаще делали остановки, давая коням отдых, подолгу сидели в лунной росистой траве на полянах и чистым, розовым утром, прохладным и терпким, когда в лесу кричат и улюлюкают птицы, — переходили болота. За болотами потянулся мелкий лес, подымавшийся по отрогу холма. К

полудню должны были соединиться со своими.

Арчил, ехавший впереди полусотни, поднял своего рыжего в галоп и остановил его на вершине холма. Солнце уже стояло высоко и припекало. Вправо от холма до самого горизонта тянулся лес, а влево уступами уходили поля, длинным голубым блюдом лежало в версте озеро и по берегу его тянулась деревня. Арчил вынул из-за обшлага карту и нашел озеро.

— Ага, деревня Гница! Еще сутки и наши займут эту деревню.

Вдруг, сухой треск ружейных выстрелов раздался со стороны деревни и тотчас лошадь Арчила закачалась и грузно рухнула на бок и Арчил еле успел соскочить с нее.

Скоро, спешившийся отряд Кикакидзе залег в цепь и ленивое пощелкивание началось с обеих сторон.

Вьючный обоз остался в болотной ложине и Пупенков говорил кучке столпившихся вокруг него обозных:

— Не иначе, как красные засаду устроили. А нам что, и у красных люди живут! Иной белый хуже красного. Разные люди бывают. А все же, красный свой брат!

Между тем, ленивая перестрелка шла своим чередом.

— Господин прапорщик! сказал, лежавший рядом с Арчилом, драгун. — Да может это и не красные, а наши придвинулись? Дозвольте с платочком пройти?

Арчил вынул из кармана платок и передал драгуну, а тот, нацепив его на карабин и размахивая им над головой, вскочил на ноги и побежал к деревне. Арчил приказал прекратить стрельбу. Выстрелы противника стали редкими, 'одиночными, но не прекращались. А драгун все бежал через поле и размахивал над головой белым платком.

Арчил приподнялся, встал на колени и поднял бинокль. И в то же мгновение его ударило в грудь и жгучая, острая боль затуманила рассудок. Он упал вперед, лицом вниз и все еще сжимая бинокль, как спросонья успел подумать: «Ранили!...»

Противником оказался свой головной отряд и скоро команда Кикакидзе, выйдя на шоссе, продолжала свой путь, а раненого прапорщика поместили в избу и им занялся доктор.

Пупенков говорил ехавшему с ним рядом драгуну:

— Теперь, значит, красных погнали. Белый верх держит. Слава тебе Христа. И такой это поганый народ красные, что не приведи Бог!

Вторая конная, вместо предполагаемого отдыха, шла вперед ускоренными переходами. Люди и лошади замучились и еще вчера, до нельзя усталый Колька, спал просто на позиции у пушки во время боя и его никто не будил, отлично понимая, что не спящего, как и спящего одинаково может достать снаряд. Так Колька и спал, а кругом рвались снаряды и двое в батарее были убиты и четверо ранены.

Кольке, как артиллерийскому разведчику, работы было по горло, а тут еще загнали и как фуражира и как квартирьера.

В деревню Гницы вторая конная пришла поздно вечером, а Колька прискакал туда за час раньше, отделил своим три избы для постоя, дождался прихода батареи, разместил всех и еще слышал, что в деревне находится какой-то, подстреленный своими же офицер и, что командир батареи решил перенести его в свою просторную и чистую избу, но усталый Колька, не евши(как был в одежде забрался на печь и почти тотчас уснул. Еще краем уха, откуда-то, словно из очень далека, он слышал

прерывистый шопот бабы:

— Солдатик! Слышь, солдатик! Придвинься. Ну же, придвинься ко мне, чо-орт! Я ж молодуха, слышь, при-и-дви-нсь!..

И он еще почувствовал, как баба тянула его за рукав, но вслед за этим все провалилось, исчезло и он уснул.

Проснулся он не сразу, словно сознание не хотело возвращаться к нему и он, то понимал, что от него хотят и уже подымал голову, чтобы оторваться 'от ложа, то вновь истомный туман заволакивал все, отодвигал за глухую стену и он опять засыпал. Но его приподымали легонько трясли и неожиданно сказали очень знакомое слово: Какидза. Колька насторожился и открыл глаза.

— Господин вольноопределящ, а господин волньоопределящ! тряс его за плечо солдатенок Максим. — Полковник требуют. Говорят, ваша Какидза помирает.

Колька вскочил и, как безумный вытаращил глаза. Еще секунда и он, соскочив на пол, метнулся к двери, выбежал на дорогу и растрепанный, без фуражки побежал к избе занятой командиром.

Чуть светало. Было свежо (зябко) и как-то странно торжественно.

В избе командира горел свет и какие-то тени шарахались у окна. И это желтое окно на фоне бледного неба и черный силуэт избы и мутный провал полей и печальное серое озеро и резкий контур дальнего леса и бледные, потухающие звезды и неожиданный крик петуха где-то за плетнями, все Это навсегда, на всю жизнь врезалось в память Кольки.

Когда он вошел в избу, то сразу почувствовал, что происходит какое-то жуткое, холодное таинство.

Арчил лежал белый, как бумага, с синими запекшимися губами и его черная, взбитая шевелюра и узкие брови, казались еще гуще и еще черней. А около его походной койки, узкой и неудобной, полукругом в молчании стояло несколько офицеров и врач.

Полковник, заботливыми, отеческими глазами, взглянул на вошедшего, такого бледного и такого испуганного Шубина и отодвинулся, чтобы пропустить его к другу, а доктор тихо сказал:

— Правое легкое на вылет. Загрязненная рана. Агония... Колька, захлебываясь слезами, с лающими рыданиями упал перед умирающим на коленки и потянулся к страшному и дорогому лицу. Арчил открыл глаза и сразу узнал друга. Он чуть улыбнулся краем губ и легкий румянец залил его щеки.

— Коля... храни, брат... достал... теперь твой... черед хранить... а помнишь... на крыше сговаривались?.. вот и конец...

Он говорил с трудом и вместе со словами, из горла вылетал булькающий храп.

— А я... к Ваське... — продолжал он — ... к нему... на Венеру... вот и не придется... тебе-то вестовым... у меня...

— А я... к Ваське... — продолжал он — ... к нему... на Ве-

— Легкая судорога пробежала по его лицу, но он пересилил себя и чуть улыбнулся. Приподнятая в улыбке первая бровь тотчас же опустилась и застыла страдальческой складкой.

— Прости... — уже с трудом шевелил он губами — ... прощай брат!..

И опять клокочущий шум в груди прервал его слова, глаза закрылись и на губах запузырилась красная пена.

Колька уже плакал громко, навзрыд, а за окном кричали петухи, светало и было слышно, как где-то далеко стрекотал пулемет.

Колька рыдал все сильнее и громче и вдруг, закричал диким голосом:
— Арчил! Арчил!..

Врач склонился над раненым, тотчас поднялся и сказал:

— Кончился!

Ничего не понимающий, обезумевший от горя Колька поднялся на ноги. Врач протянул ему толстый синий пакет и сказал:

— Вот это, он просил передать вам.

Шубин машинально принял пакет, осмотрел его и новые рыдания подступили к горлу: пакет был в пятнах крови Арчила...Холодным осенним вечером, когда в сумерках над кадетским садом топорщился электрический огонек, Колька шел знакомой дорогой, шел одинокий, печальный, готовый ежеминутно повернуть обратно и бежать от этих, таких дорогих и таких тяжелых по воспоминаниям мест. В замызанной шинеле все того же артиллерийского разведчика, но уже с двумя белыми крестиками на груди, он уже не был тем порывистым и быстрым в движениях кадетом Шубиным, а казался со стороны большим, пожилым человеком. Только год, только один, вырванный из корпусной жизни, год придавил и искалечил кадета! Еще в поезде он узнал от соседа, что их корпус отвели под беженский лазарет и спросил:

— А не знаете ли вы, здесь ли еще капитан Черкассов?

— Черкассов? переспросил сосед. — Черкассов... да, знаю. Он застрелился.

— Как застрелился? Почему?

— Не знаю. Говорят, томился событиями и не выдержал. Да-с, события! Скоро каждая деревня будет выбирать президента. Вы только с позиций?

— Да.

— Я тоже недавно здесь. Сдается мне, что пора кончать эту нелепость.

— Нелепость? Какую нелепость? не понял Колька.

— Да всю эту войну.

— Помилуйте, какая же это нелепость? Люди борются, страдают, гибнут в мучениях, а вы называете это нелепостью.

— Потому-то и называю, что все страдают и борются. А кто прав? Вы думаете наверное, что правы только мы? А я думаю, что правы все!

— Как все?

— Да просто, все! и городовые и матросы и коммунисты и офицеры.

— Простите, но я ничего не понимаю.

— А чего проще: ведь, если человек идет на страдание и смерть, значит он верит в свою правоту. Разве не правда?

— Конечно.

— Ну, а разве не погибали сознательно: городовые, матросы, коммунисты и офицеры? Или вы готовы утверждать, что

—

только люди с вашей идеологией умирают сознательно, а все остальные умирают не сознательно? Ведь это чушь!

— И, что тогда — тревожно спросил Колька.

— А тогда — один выход: каждый прав. И отсюда, страшная нелепость вся эта бойня! Ведь все эти городовые и буденовцы и матросы и офицеры, все они безгранично любят Россию и все они рвут ее на дыбе и все умирают за нее потому, что все они хотят ей только счастья, но каждый по

своему понимает ее счастье!

— И что нужно? спросил Шубин.

— Любовь! сказал собеседник. — Если хотите, то **вся эта** гражданская война, только жуткая звериада.

Колька улыбнулся и любовно ощупал под шинелью пакет с Звериадой.

«Да, пожалуй, мой сосед прав!» подумал он.

Идя со станции, Колька обдумывал, где бы зарыть Звериаду, чтобы потом, когда кончится война, отрыть ее и передать молодым кадетам. Он зашел в лавку и купил несколько листов пергамину. «Оберну» решил он. «Будет сохранней».

Еще в поезде, мечтая о встрече с корпусом, Колька написал стихотворение и вот теперь, подходя к дорогим местам со стороны сумеречного сада, он вдруг, остановился и невольно прислонился к каштану; так закружилась голова и так до боли сжалось сердце. Ну да: вон из-за рваной желтизны деревьев показалась родная крыша. Крыша! Та самая крыша, на которой он сговаривался с Арчилом! А вон, окно чистилки и береза, по которой они спускались в сад, вон и решетка, через которую они перелезали... как будто вчера. Дыхание у Кольки сперлось, сердце забилося часто-часто и в горле запершило. Мысли у Кольки путались, метались, жгли и давили его: «Горский... Арчил... Васька дурачится... а потом... там... череп разрублен до самого рта... и у Арчила красная пена на губах...»

Он вынул из кармана написанное в поезде стихотворение и почему-то стал читать вслух:

Ну, здравствуй наш кадетский корпус!

Ты и печален и уныл. Прости, ушли твои кадеты

И ты, конечно, их забыл.

Тебя набили тени — люди.

Проклятья, стоны, вонь и чад...

А помнишь, как друзья бежали

Вот через этот самый сад?

Один в бою, другой у Гницы,

Убиты оба. Я один

Смотрю в печальные глазницы,

Судьбой сраженный гражданин.

Где страх смешон, а песни жутки,

Мы пили кровь, а не вино!

И вот, Арчилу и Васютке

Узреть тебя не суждено...

— Какая галиматья! сказал он, перечел, засмеялся. — Чушь! Вот, действительно, чушь! И бездарно и глупо! и вдруг, припав лицом к стволу каштана, истерично расплакался. Он плакал, смеялся сквозь слезы, по детски утирал кулаками глаза, потом достал из-под френча Звериаду, зашитую в толстую холстину, обернул ее в несколько листов пергамина и, все еще вдрагивая от душивших его рыданий, присел у каштана и стал быстро ножом раскапывать землю...

Колька уходил не оглядываясь, почти бежал с глазами полными слез и не видел, как из-за деревьев вышел кадетский сторож Никифорыч, как разрыл он свежую могилу Звериады, дрожащими руками извлек объемистый пакет и, отряхнув с него землю, быстро скрылся в направлении корпуса.

В подвальной комнате, при свете топившейся печурки, Никифорыч торопливо вскрывал пакет. Голова его тряслась, руки дрожали, на лбу крупными каплями выступал пот.

— Ишь, ты! Денжищ-то, денжищ-то! Ну и сволочи! Ну и солдаты пошли! Не иначе, как нагребил, мерзавец! А может и зарезал, а может и с мертвого снял. Вот грех-то, прости его Господи! Чужое-то... краденное-то... а? А еще солдат, честь русская, и не стыдно, собаке?!

И он, вспарывая парусину, мечтал уехать на хутора и зажить на эти деньги порядочной жизнью.

— Теперь я кум королю! говорил он с дрожью в голосе, вытягивая из парусины синий с печатями, пакет.

Но вот, и пакет вскрыт и двадцать раз переворачивает он страницы тетради, встряхивает ее и, обезумев от злобы топчет ее ногами. От обиды он плюется, рычит и слов нет и вместо ругательств, какое-то клокотание. И, наконец, он швырнул тетрадь в печь.

Синими, золотыми, зелеными и красными огнями вспыхнула Кадетская Звериада и в этом метущемся пламени горевшей бумаги, словно слышались отдаленные голоса Арчила и Васьки:

— Прощай, Звериада! Прощай, Колька! Прощай, глупый Никифорыч!..

А Колька шел мокрыми улицами южного городка и тяжело и неудобно было у него на душе.